

Рецензии

ПРОЖАРКА С КРОВЬЮ

Как накормить диктатора

Витольд Шабловский

М.: CORPUS, 2023. – 272 с. – 1500 экз.

Серия «100%.doc»



Им бы, гипсовым, человечины...

Александр Галич

Польский журналист, попробовавший себя как в бумажных, так и в электронных СМИ – среди его работодателей были такие почтенные информационные ресурсы, как польская «Gazeta Wyborcza» и американская CNN, – решил осветить популярную сегодня тему функционирования авторитарных режимов с довольно неожиданного ракурса. В течение четырех лет он договаривался о встречах, а потом записывал персональные интервью с поварами(!), которые обслуживали правителей-диктаторов, в последние десятилетия мучивших

людей в разных частях света. Итогом нелегкой, а иногда и откровенно опасной, работы стал интереснейший политико-гастрономический экскурс, в котором образы тиранического правления дополняются картинами пиршеств тиранов. Как известно, пищевые и властные ресурсы во все времена человеческой истории были взаимосвязаны между собой, а потому меню, представленное на столе деспота, способно многое рассказать о хозяине застолья – тем более, что пищевые предпочтения великих людей порой бывают весьма необычными. Скажем, можно ли было не задать повару Иди Амина, ужасного владыки Уганды и «последнего короля Шотландии», вопрос о том, вкушал ли его хозяин человечину? Понятно, что едва ли:

«Видно, что он ждал этого вопроса. С минуту он думает, сидя на ящике под большим деревом, где мы ведем наши многочасовые беседы. И, наконец, произносит: “Конечно, я слышал сплетни. Меня не раз спрашивали, готовил ли я для него человеческое мясо. Нет, такого никогда не было”» (с. 118).

Собственных подданных, однако, можно «потреблять» по-разному – и, как показывает история XX века, орудовать для этого ножом и вилкой совсем не обязательно. Собеседники польского журналиста рассказывают ему и об этом тоже.

Среди героев повествования прямо-таки отборная компания великих деятелей прошлого (и немножко нынешнего) столетия: помимо Иди Амина, здесь оказались Саддам Хусейн, Энвер Ходжа, Фидель Кастро и Пол Пот. Договариваться о встречах Шабловскому было нелегко – некоторые из его собеседников даже спустя десятилетия после смерти хозяина предпочитают скрывать

свои имена. (Так, повар, кормивший вождя албанских коммунистов, наотрез отказался не только сфотографироваться с автором, но и назвать свое имя; похоже, в высокой кулинарии, как и в разведке, «бывших» не бывает.) Другие были более разговорчивыми, охотно вспоминая обыкновения и привычки своих прежних нанимателей. В итоге, как выразился, ознакомившись с книгой, рецензент одной из британских газет – его слова украшают обложку русского издания, – «диктаторы из мифологизированных персонажей превращаются в людей из плоти и крови». Плоти в книге действительно много. И крови, понятное дело, тоже.

Автор заинтересовался своей будущей темой, увидев как-то документальный фильм под названием «Военный повар», в котором снялся Бранко Трбович – личный повар маршала Иосипа Броз Тито, всевластного правителя Югославии:

«В моей голове что-то щелкнуло. Я задумался: а что могут рассказать об истории те, кто в ключевые ее моменты стоял у плиты? Что булькало в кастрюлях, когда судьбы мира висели на волоске?» (с. 19).

Позже многочисленные вопросы стали облекаться в более конкретные формы. Чем обедал Саддам Хусейн, когда отдавал приказ отравить газом десятки тысяч курдов? Чем питался Пол Пот, проводя свою «санацию» кхмерского общества? Что заказывал Фидель Кастро в дни Карибского ядерного кризиса? «Выхода у меня не было, – продолжает автор. – Вопросов набралось так много, что пришлось разыскивать настоящих поваров диктаторов» (с. 20). В конечном счете, по его словам, удалось повторить уроки истории XX века, подсматривая в щелку кухонной двери – причем пытливному взору открылось многое, ибо виртуозы кухни действительно оказались весьма знающими людьми.

Повариха Йонг Мыан, которая бесшумно обслуживала Пол Пота, начиная еще

с партизанских баз в джунглях, рассказала автору, что в те дни один из гнуснейших палачей XX века носил прозвище «брат Поук», что по-кхмерски означало «брат Матрас». Девушка была озадачена, поскольку никто из коммунистов не знал, откуда взялась эта кличка:

«Только много месяцев спустя кто-то из товарищей объяснил мне, что Матрасом его прозвали потому, что он всегда старался все смягчить, уладить. Он был мягкий, и в этом заключалась его сила. Когда другие ссорились, Пол Пот разминимал их и помогал договориться» (с. 12).

О том, что в повседневной жизни вождь «красных кхмеров» был милейшим человеком, вспоминали и другие общавшиеся с ним люди. Под стать кротости и покладистости были и пищевые привычки диктатора, который не допускал за столом никаких излишеств: так, на обед Пол Пот получал в основном только суп, иногда жареную или сушеную рыбу, а единственным мясом, которое разрешали ему китайские доктора, долгие годы оставалась черная курица. Суп из нее в Юго-Восточной Азии считается чудодейственным; недаром он успокаивал вечно расстроенный желудок вождя. Впрочем, Пол Пот только выпивал бульон, а мясо доставалось его приближенным. Эти охранники – по сравнению с другими гражданами Демократической Кампучии – были счастливцами, поскольку после 1975 года уцелевшие подданные коммунистов ели в основном крыс, лягушек, кузнечиков, сверчков, червей, муравьев. Но, как свидетельствует Йонг Мыан, даже в самые тяжелые дни с лица Пол Пота не сходила улыбка:

«Столько лет я каждый день смотрела, как он смеется; слушала, как он шутит; готовила ему. Ты спрашиваешь, любила ли я его? [Но] ответь себе сам: разве можно было его не любить?» (с. 262).

Действительно, что за странный вопрос – в особенности, когда речь идет о человеке, погубившем не десять или пятнадцать миллионов, а только лишь два и всего себя отдавшего победе коммунизма?

Не все венценосные работодатели поваров, представленные в книжке, были столь сговорчивыми и великодушными, как брат Матрас. Отонде Одере, долгие годы обслуживавшему угандийского деспота Иди Амина, многократно пришлось бы позавидовать кхмерской девушке Йонг Мыан, знай он о ее существовании, поскольку ему с начальством повезло гораздо меньше. Сам официальный титул хозяина Уганды, зачитывавшийся по национальному радио всякий раз, когда упоминалось имя великого человека – «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал, аль-Хаджи, Доктор, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Кавалер орденов “Крест Виктории”, “Военный крест” и “За боевые заслуги”» (с. 110), – зывал к максимальной серьезности.

«Теперь от моего мастерства зависела моя жизнь», – говорит Одера, вспоминая первые кухонные дни после переворота 1971 года (с. 107). И, хотя чревоугодник Амин, утвердившись в президентском кресле, первым делом повысил жалование своему дворцовому повару (тот мгновенно стал зарабатывать больше всех сотрудников президентской администрации), подарил ему новенький «Мерседес» для поездок на рынок и за каждой трапезой несколько раз благодарил за приготовленную еду, шеф каждый день нервничал, поскольку знал, что тела убитых, имевших несчастье перейти дорогу национальному лидеру, в Уганде даже не хоронят, а просто выбрасывают в Нил на съедение крокодилам.

«Все во дворце знали, что мы работаем на безумца, который может расстрелять нас от нечего делать. Ты спрашиваешь, как я мог готовить для такого чудовища. У меня были четыре жены, пятеро детей. Амин

привязал меня к себе так, что я не мог уйти; я даже не заметил, как он это провернул» (с. 115–116).

Без денег президента Одера не выжил бы; как и вся остальная челядь, он зависел от диктатора целиком и полностью, и тот знал об этом. Вместе с тем даже такая диспозиция не уберегла острожного повара: обвиненный по анонимному доносу в намерении отравить великого человека, он оказался-таки в камере смертников. Шефа, однако, по какой-то неизвестной ему причине не расстреляли, а лишь выдворили из страны: отобрав паспорт, его с семейством отвезли в соседнюю Кению.

В середине 1980-х, вернувшись в Уганду после свержения диктатора и немного поработав на новые власти, Одера перебрался в родную деревню. Ему за восемьдесят, разваливающаяся хижина требует ремонта, последняя из оставшихся жен лишилась рассудка, а еды на кухне зачастую нет. «Мог ли ты подумать, что так живет человек, который готовил для президентов, – риторически вопрошает он своего гостя, – которому жали руку и полковник Каддафи, и император Хайле Селассие?» (с. 126). На склоне лет Одера, ранее прошедший по личному указанию мусульманина Амина обряд обрезания, стал истовым христианином и теперь горячо надеется, что Иисус примет его.

Великий вождь албанского народа Энвер Ходжа всю жизнь страдал от диабета, и по этой причине ему всегда приходилось ограничивать себя в пище. Его установленный медиками энергетический потолок составлял всего тысячу двести калорий в день и не предполагал никаких исключений. Господин К., десятилетиями обслуживавший владыку Албании и пожелавший остаться анонимным, полагает, что из-за скудной диеты Ходжа постоянно испытывал раздражение, что напрямую отражалось на его политических решениях. Повару приходилось

демонстрировать чудеса кулинарной эквилибристики, насыщая диктатора, и он, похоже, преуспевал в этом:

«Ходжа много раз садился за стол раздраженным, а вставал в прекрасном расположении духа и даже шутил. Кто знает, скольким людям я спас тем самым жизнь?» (с. 147).

Конечно, Албания не совсем Уганда, но и здесь с кормильцами первых лиц не церемонились: первая повариха лидера албанских коммунистов покончила с собой, один из его поваров бесследно пропал, причем интересоваться его судьбой строжайше запрещалось, и потому в годы социализма господин К. хлопотал у плиты в состоянии перманентного ужаса, усугублявшегося вечным дефицитом самых элементарных продуктов. «Весь персонал боялся, что однажды Энвер встанет не с той ноги и велит отправить нас в лагерь или убить», – вспоминает он (с. 155). Но все обошлось. Сегодня бывший шеф президентской кухни держит маленький ресторанчик в убогом квартале одного из приморских городков Албании и больше всего хочет покоя. За всегдатаи его заведения – рассказывает Шабловский – рабочие со стройки, расположенной по соседству. Но повар доволен, поскольку знает: для него все могло обернуться гораздо хуже.

«Своими пухлыми пальцами, которые трудились для Энвера Ходжи, он лепит точно такие же котлетки, как когда-то лепил человеку, запретившему своим подданным верить в Бога и безраздельно правившему Албанией на протяжении почти полувека» (с. 137).

Пожалуй, самым непривередливым и всеядным единоличным правителем, представленным на страницах книги, можно считать Фиделя Кастро. Его повар Эрасмо Эрнандес поначалу служил в охране лидера «барбудос», но позже по указанию

руководства переквалифицировался. Ныне он владеет модным рестораном в Гаване, причем его посетителями по большей части являются приезжающие на Кубу иностранцы. Эрнандес, узнав в свое время о кончине команданте, плакал как ребенок; он и сегодня, вопреки своему вполне буржуазному образу жизни, продолжает боготворить вождя. По его воспоминаниям, Фидель, несмотря на широко известное пристрастие к хорошему алкоголю и дорогим сигарам, неизменно ел только то, что едят простые кубинцы. Конечно, рассказывает повар, после своих знаменитых рыбалок вождь революции мог собственноручно поджарить на гриле омаров или креветок, но в целом его пищевые предпочтения на протяжении всей жизни оставались самыми неприятельными: достаточно сказать, что все остальным блюдам он предпочитал спагетти, искусством варки которых «овладел в совершенстве» (с. 180).

Вождь кубинской революции отличался также особым пристрастием к молоку и сырам: на протяжении многих лет он лично курировал надои коровы-рекордсменки по кличке Убре Бланка, о достижениях которой регулярно писала партийная газета «Гранпа» и которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Считая, что кубинцы едят слишком мало молочных продуктов, великий человек неустанно пропагандировал их потребление, на разные лады рассказывая партийцам и прочим согражданам о своей чудо-корове. Правда, когда рекорды внезапно прекратились, а корова-чемпионка превратилась в самую заурядную корову, Фидель в 1985 году лично приказал усыпить не оправдавшее партийного доверия животное:

«Убре Бланка, дававшая все меньше молока, не помогала Революции. Хуже того: Убре Бланка позволила бы империалистам утверждать, будто Революция остановилась» (с. 197).

А после того, как с конца 1980-х Куба перестала получать помощь из СССР, весь кулинарный фронт революционеров просел, пищевые новации властей пошли прахом, а кубинцам пришлось сесть на весьма скудную карточную диету.

В целом история о Фиделе Кастро получилась настолько благостной, а кубинский руководитель предстал перед читателем до такой степени скромным и непохожим на своих собратьев из других стран, что автор, по-видимому, сам удивился; в ткани повествования возникал явный беспорядок и, вероятно, желая сгладить политическую неловкость, Шабловский вводит в повествование еще одного повара Фиделя: опустившегося и выжившего из ума Флореса (на этот раз без фамилии), живущего в грязной лачуге на окраине города, который, делаясь обрывками воспоминаний о вкусах команданте, постоянно ждет, что за ним самим вот-вот придут. Без него, в принципе, вполне можно было бы обойтись, но жанровые требования – вещь серьезная. Зато в рассказе, скажем, о питании Саддама Хусейна подобные трюки и не могли понадобиться, ибо иракский президент идеально укладывался в стандартный архетип авторитарного самодура.

Абу Али, личный повар Саддама, много лет опасался мести американцев и потому ни с кем не хотел делиться фактами из жизни своего начальника. Его пришлось уговаривать на интервью целый год, и это не удивительно: поступая в свое время на службу, повару пришлось подписать бумагу, что он не имеет права никому рассказывать об увиденном в доме президента Ирака – причем там было указано, что если повар нарушит слово, то карой станет смертная казнь через повешение.

«Работа на Саддама во многом заключалась в том, чтобы почувствовать, когда у него хороший день, и тогда приготовить что-нибудь, что он особенно любит, а в другие дни просто не стоять у него на пути» (с. 43).

Если же выдавался плохой день, то Саддам, будучи не в настроении, запросто мог потребовать вернуть деньги за непонравившиеся ему мясо или рыбу в кассу президентской администрации. Подобное случалось часто, но зато, оригинальным образом возмещая своим поварам понесенный моральный ущерб, диктатор раз в год покупал каждому из них новый автомобиль. В диетических обыкновениях палача иракских курдов не было ничего особенно: он очень любил рыбу, блюда на гриле, супы, кебаб, шаурму. Имелась, конечно, и протокольная специфика – например, любую приготовленную для главы государства пищу, оставшуюся непотребленной, в обязательном порядке полагалось выбрасывать, что в голодающей стране нередко оборачивалось неизбежными казусами. В частности, касаясь быта одного из президентских дворцов, которыми Саддам застроил весь Ирак, повар говорит:

«Это была еда президента, предназначенная только для него. Ее нельзя было трогать. Еды было очень много, и местные бедняки вычислили, куда ее выбрасывают. Они стали шастать на помойку и забирать еду себе. Через несколько дней их всех арестовали и избили» (с. 66).

Главной проблемой в пятнадцатилетнем сотрудничестве Абу Али с главой государства была непредсказуемость босса: теоретически, президент Ирака в любой момент мог снести голову любому из своих подданных. Истомившись от многолетнего стресса, повар после нападения Ирака на Кувейт попросил об увольнении с государственной службы, и, как ни удивительно, диктатор отпустил его. При этом, правда, Абу Али предъявили важное условие:

«Саддам очень любил мою бастурму, вяленую говядину, и попросил, чтобы раз в год – бастурму всегда готовят зимой – я приезжал и готовил это блюдо специально для него» (с. 67).

Так оно и продолжалось на протяжении еще нескольких лет. Когда американцы взяли Багдад, повар испытал ужас, представляя себя в оранжевой робе узника Гуантанамо, но чудесным образом все обошлось.

«О том, как я уговаривал поваров довериться мне, я мог бы написать еще одну книгу», – рассказывает автор (с. 20). В каждом из случаев получить согласие на интервью было трудно. Одни так и не смогли преодолеть травму работы на тирана, который в любой момент мог расправиться с ними; другие, ощущая себя связанными с поверженным самодержцем, до сих пор не готовы раскрывать его тайны, пусть даже и кухонные; третьим же просто не хочется заново проживать не самые приятные моменты собственной жизни. Кроме того, особой проблемой был, как и следовало ожидать, факт-чекинг: рассказы поваров приходилось сверять не только с историческими хрониками, но и с их собственными нарративами, ранее уже предлагавшимися другим журналистам. Естественно, порой в повествованиях возникали противоречия – человек широк, причем не только русский, – и их так или иначе приходилось снимать, уточняя нюансы. Тем не менее в итоге у Витольда Шабловского все получилось – и на свет родилась очень и очень познавательная книга.

Юлия Крутицкая

Сколько стоит человек

Евфросиния Керсновская
М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2022. –
800 с. – 4000 экз.

Евфросиния Керсновская (1907–1994) оставила человеческий документ потрясающей силы. Эта 800-страничная книга воспоминаний с рисунками автора включает в себя двенадцать тетрадей дневников и представ-

ляет ту часть истории страны, которую сегодня не изучают в школах – истории страданий большого народа, а также народов малых в годы сталинских репрессий. Свой огромный труд Керсновская приняла после смерти матери – именно та ее об этом и попросила. Рецензируемое издание, несмотря на объем, является сокращенным; целиком же воспоминания опубликованы в 2000–2001 годах в шеститомнике издательства «Можайск-Терра».



Керсновская прошла сталинские лагеря, каторгу, тюрьмы и ссылки. В силу характера и высоких нравственных качеств, привитых родителями (это была дворянская семья), ей удалось в тяжелейших условиях отстоять свое человеческое достоинство. Возможно, благодаря этому, она сохранила жизнь и память. А память у нее беспримерная: она удержала не только канву событий, но и огромное количество значимых подробностей – имена людей, населенных пунктов, маршрутов и, самое главное, множество пронзительных человеческих историй, из которых складывается картина террора сталинской власти против собственного народа.

Работа над воспоминаниями стала для Керсновской подлинной миссией, она счи-

тала это своим долгом перед будущими поколениями, видя, как в угоду идеологии написанная кровью и страданиями история страны редактируется, фальсифицируется, «подгоняется под ответ». По идеологическому заказу работали и советский худлит, и советский кинематограф, которые, действуя на чувства, отключали коллективный разум.

«Разумеется, у человека есть ум. Ум – это память, логика и опыт, свой и чужой, приобретаемый ценой ошибок и оплаченный страданием. Не задумываясь, ставлю я на первое место память» (с. 533).

Попытки отнять у людей память, заменить логику покорностью, извратить уроки истории Керсновская считала преступными. Поэтому о цели своих мемуаров (которые сама называла «набросками прошлого») она говорит так:

«Еще несколько лет, и мы, последние очевидцы и революции, и нэпа, и коллективизации, и сталинского террора, – мы умрем, и некому будет сказать: “Нет! Было вовсе не так!”. Поэтому я и пытаюсь “сфотографировать” то, чему я была очевидцем. Люди должны знать правду, чтобы повторение таких времен стало невозможным» (с. 533–544).

В 1919 году семья Керсновских, спасаясь от большевиков и гражданской войны, бежала из Одессы в Бессарабию (в то время территория Румынии), в родовое имение Цепилово. Евфросиния получила ветеринарное образование и, фактически взяв на себя управление имением, с увлечением трудилась на своей земле. Керсновская упрекает себя в наивных надеждах и политической близорукости, помешавшей присмотреться, особенно в 1937 году, к непонятному восточному соседу.

Счастливым для нее время жизни закончилось летом 1940 года, когда исходя из секретного протокола Молотова–Риббентропа

СССР аннексировал Бессарабию, образовав Молдавскую ССР. Керсновскую вместе с матерью вышвырнули из фамильного дома как помещиков-эксплуататоров. Мать удалось переправить в Румынию. Евфросиния могла бы уехать вместе с ней, но осталась, потому что верила, что в Советском Союзе умеют ценить труд, что там есть где применить свои силы, что она станет «полноправным полезным гражданином своей страны» (с. 55).

Через год, за десять дней до вторжения Гитлера в СССР, Керсновская вместе с другими жителями бывшей Бессарабии подверглась депортации. Всего из Молдавии в Сибирь, по имеющимся данным, выслали почти тридцать тысяч человек. Об этих событиях известно меньше, чем о массовых депортациях из стран Балтии и республик Закавказья, а также высылке поволжских немцев; тем более ценны эти дневники. Казалось бы, путешествие в Сибирь в вагоне для скота должно было навсегда избавить Керсновскую от иллюзий. Но, возможно, оптимизм был изначально свойствен ее натуре, сформировавшей в любящей семье: даже на спецпоселении в Нарымском крае (ныне север Томской области), на лесоповале она верила, что ее «откровенность и добрая воля, честное отношение к труду и [...] искренняя любовь к родине» выведут ее на прямую дорогу (с. 158).

Переселенцы работали в каторжных условиях, попав туда без суда и следствия. Начальником Суйгинского леспромхоза был садист Дмитрий Хохрин: он самолично поднял норму выработки с 2,5 до 12 кубометров древесины на человека, что было непосильной нагрузкой для голодных людей, к тому же уроженцев юга. А когда количество норм приближалось к отметке, которая давала право на дополнительную оплату, он переводил человека на другую работу, тем самым обнуляя счетчик. Он также запретил взаимопомощь в бригадах.

Когда Хохрин лишил Керсновскую, открыто выступавшую против его произвола, хлебного пайка и даже баланды и она умирала от истощения, узница решилась на побег.

Около полугода, весной и летом 1942 года, Керсновская ходила по Западной Сибири, перебиваясь случайными заработками, пока некая комсомольская активистка не сдала ее властям. Суд приговорил Евфросинию к расстрелу – за побег из мест поселения и клевету на жизнь трудящихся (п. 10 ст. 58 Уголовного Кодекса РСФСР): оказалось, что Хохрин написал на нее более сотни доносов. Вместо прощения о помиловании она начертала на чистом листе бумаги: «Требовать справедливости – не могу, просить милости – не хочу». Расстрел, однако, заменили десятью годами лагерей. Через два года ей дадут новый срок – те же десять лет лагерей – якобы за критику антирелигиозной поэзии Маяковского. Выдаст ее женщина-ветеринар, обязанная ей головой: Керсновская спасла от падежа около двухсот свиней на запущенной свиноферме и наладила там работу. В силу природной честности она отказывалась списывать здоровых свиней как павших, чтобы обеспечить мясом начальство, за что ей и отомстили.

На стройке жилого дома Керсновская повредила ногу и оказалась в центральной лагерной больнице, где ее по выздоровлении оставили работать медсестрой. В больницу люди попадали в основном из-за голода, но диагноз «истощение» ставить запрещалось. Евфросиния училась у опытных врачей, заключенных и вольных, и успела стать хорошим диагностом. Даже последующий период работы в морге она называет «идиллией». Если она и не удержалась на работе, о которой заключенные могли только мечтать, то опять же из-за своей принципиальности и честности. «Слишком много факторов было против меня, а за было только одно: я поступала так, как повелевала мне совесть. А этого, как известно, никогда не прощают» (с. 550).

В 1947 году Керсновская попросилась на угольную шахту Норильска, где освоила все шахтерские профессии, включая самые тяжелые и опасные. Она была скреперистом, бурильщиком, взрывником, и популярные ныне феминитивы в данном случае были бы неуместны, потому что она выполняла самую что ни на есть «мужскую» работу. Неоднократно она спасала своих товарищей-шахтеров от неминуемой гибели. «Каким утешением было для меня, что я полюбила шахту – работу в ней, моих товарищей! [...] Во всех испытаниях у меня был спасательный круг и в самой кромешной тьме светил маяк – шахта» (с. 583). Она проработала там до окончания лагерного срока в 1952 году, а потом осталась как вольнонаемная.

В 1957 году, поехав в отпуск, она посетила Цепилово, найдя свое имение разграбленным и запущенным. Но счастливый случай помог узнать, что ее мать в Румынии, она жива и разыскивает дочь. Через год женщины встретились. Евфросиния проработала на шахте до 1960 года, чтобы получить шахтерскую пенсию. Но органы госбезопасности задумали уволить ее незадолго до срока выслуги, чтобы лишить полноценной компенсации. Ей устроили «гражданскую казнь» – так называемый «товарищеский суд» по надуманным обвинениям, но собрание шахтеров отказалось одобрять ее увольнение и даже осуждать ее. Обвинитель, полковник КГБ Кошкин, напоследок отомстил: он заставил редактора «Заполярной правды» опубликовать две клеветнические статьи против Керсновской. Однако шахтерская пенсия была сохранена и ее хватило, чтобы купить половину дома в Эссентуках для них с матерью (та умерла в 1964 году). Сама Евфросиния Керсновская прожила долгую жизнь, увидела распад СССР и кусочек новой России.

«Сколько стоит человек» – это ответ Керсновской на вопрос, возможна ли литература после ГУЛАГа, и если да, то какой

она должна быть. Вопрос этот в своих эссе ставил Варлам Шаламов и сам же отвечал: новая проза должна быть документом и даже чем-то бóльшим, чем документ. «Собственная кровь, собственная судьба – вот требование сегодняшней литературы», – пишет он в своем манифесте «0 прозе»¹. Право писать и судить дают писателю ад и рай в его собственной душе, считал он. «Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара», – утверждает Шаламов в том же эссе. О своих «Колымских рассказах» он говорит, что это «судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями». То же можно сказать и о героях воспоминаний Керсновской: это мученики, которые не канули в полную неизвестность только благодаря ее тетрадям. Ее проза – тоже выстраданный кровью документ души, освященный не только талантом, но и высочайшими моральными качествами: «Какое это счастье, когда не испытываешь колебаний, прислушиваешься к голосу своей совести и подчиняешься только ее приказаниям!» (с. 570).

Думается, в споре Шаламова с Солженицыным Керсновская была бы на стороне Шаламова, который считал лагерь с начала до конца отрицательным опытом для человека. (Солженицын же находил, что этот опыт способен духовно возвысить.) Назначение системы так называемых исправительных или трудовых лагерей Керсновская видит в следующем:

«Изможденная голодом тень человека покорна и вполне безопасна. Отсюда прямой расчет: надо было заставить человека потерять силы, волю, достоинство и даже облик человеческий» (с. 533).

Свой лагерный срок она хоть и называет «университетами» – но в горько-ироническом смысле. Керсновская провела ревизию своего «архива иллюзий», но высокой ценой,

и признается, что несколько раз стояла на грани самоубийства, когда казалось, что смерть – наименьшее зло.

Книга Керсновской «неотличима от документа, от мемуара», потому что это и есть документ и мемуар. В книге мало оценок событий, потому что простого и внятного изложения фактов оказывается достаточно. Факты не просто говорят за себя, они вопиют и корчатся от боли. Писательский стиль Керсновской прост и прозрачен, она не нагнетает страсти, а просто документирует события и осмысливает их, но ее дневники представляют собой нелегкое чтение – из-за концентрации в них человеческого страдания. Ярких, значимых эпизодов так много, что даже трудно выбрать что-то для цитирования. Автор рассказывает, как выглядит голод и на что человек способен пойти ради куска хлеба или миски баланды; дает образцы и человеческой низости, и духовных высот; описывает постыдные случаи доносов и, наоборот, открытых выступлений в ее поддержку, когда эта поддержка требовала от людей мужества. Так что эпиграфом к книге можно было бы поставить строки из стихотворения Роберта Рождественского «Случай»: «Какое это чудо – Человек! Какая это мерзость – человек!»

Откуда Евфросиния брала силы, когда они, казалось, были полностью исчерпаны? Что спасало от смерти, насильственной или добровольной? Нередко – чистая случайность. Иногда – встреча с порядочным человеком, придававшая веру. Минуты созерцания красот природы. Возможно, у Керсновской был велик изначальный запас прекрасных иллюзий о жизни и человеке. Согласно Виктору Франклу, в концлагере выживали те, кто обладал индивидуальным смыслом жизни. Керсновская неоднократно пишет о своей любви к осмысленному труду. Она искала смысл даже в каторжном труде заключенного, превра-

1 Шаламов В. *Все или ничего. Эссе о поэзии и прозе*. СПб.: Лимбус Пресс, 2016.

щала его в труд осознанный, всегда выполняла свою работу добросовестно, что также делало ее «инородным телом» в среде заключенных и начальства. Но иначе она не могла. Отсутствие страха, которое она демонстрировала на допросах, в столкновении с заключенными-уголовниками, на тяжелой и опасной работе, она объясняла своей твердой уверенностью, что из-за нее никто из близких не пострадает. В минуты отчаяния она также поддерживала себя иррациональной надеждой: «Человек надеется на лучшее исходя из того, что хуже быть не может!» (с. 110).

Не исключено, что спасительными были и дневниковые записи, которые она начала делать еще в заключении, будучи медсестрой лагерной больницы, и карандашные рисунки – ее большое увлечение и своеобразный графический дневник. В издание «Сколько стоит человек» вошли более тридцати цветных вкладок с этими рисунками, а всего их существует более семисот. Часто их сравнивают с лагерными комиксами или русским лубком. Многие впервые узнали о Керсновской благодаря публикации ее рисунков и фрагментов воспоминаний в постперестроечной печати. В 1991 году издательство «Квадрат» выпустило альбом ее рисунков под названием «Наскальная живопись». На сайте Музея истории ГУЛАГа есть альбомная версия воспоминаний Керсновской: двенадцать тетрадей и 680 рисунков с подписями. Как написано в музейной аннотации, Керсновская сделала три рукописные копии тетрадей, полностью повторив рисунки, и в целях безопасности отдала их на хранение разным людям. Хотя она не была профессиональной художницей, рисунки ее при их наивно-лубочном стиле очень точны и являются органической частью ее письменных воспоминаний.

В своем повествовании Керсновская неоднократно подчеркивает, что в самых тяжелых обстоятельствах, когда ложь, казалось бы, могла облегчить ее участь, она предпо-

читала говорить правду. В мирной жизни она всегда была честна, чтобы не впасть в противоречия. Пройдя лагерные университеты, она приобрела новый мотив для правды: «Правду говорю я из гордости и оттого, что не могу побороть брезгливого отворачивания ко лжи и трусости» (с. 293). О своем поведении на допросах она говорит так:

«Я твердо верила в то, что называется “академической свободой”: каждый имеет право думать, говорить, писать или читать то, что он считает правдой, и имеет право убеждать каждого в том, что он считает разумным и справедливым» (с. 312).

Нетрудно предположить, что люди, обладающие такой свободой, были обречены стать инородными телами как в сталинском СССР, так и позже.

У Евфросинии Керсновской есть еще одно качество, которым можно только восхищаться. В ее записках нет обиды на страну, которая оказалась к ней так жестока (что, кстати, объединяет ее с другими известными мемуаристами и писателями, бывшими узниками ГУЛАГа).

«Никогда, ни на одно мгновение, мне не приходило в голову, что за все эти безобразия, несправедливость, тупость и прочее ответственность ложится на Россию, мою родину, чей путь был всегда непомерно труден и тернист» (с. 312).

Лояльность Керсновской стране, где ее заставили пройти круги ада, просто удивительна. Вряд ли это можно объяснить ее политической близорукостью, в которой она признавалась в начале мемуаров, – скорее она отделяла страну от правящей диктатуры.

Последняя фраза воспоминаний Керсновской – прямое послание потомкам, предостережение: «Все может повториться. И лучше видеть опасность, чем идти с завязанными глазами» (с. 793).

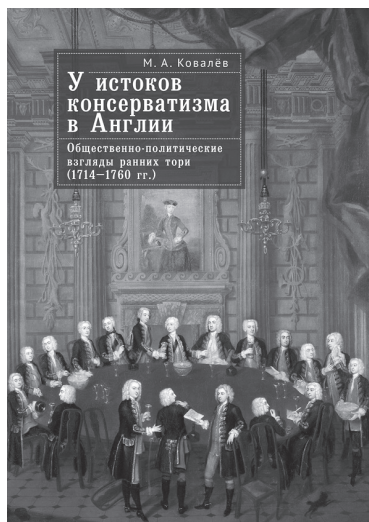
СЕРГЕЙ ГОГИН



**У истоков консерватизма в Англии.
Общественно-политические взгляды
ранних тори (1714–1760 гг.)**

МАКСИМ КОВАЛЕВ

СПб.: Алетейя, 2024. – 360 с. – 500 экз.



Новая книга серии «Pax Britannica» посвящена зарождению консерватизма как общественно-политического течения. Его историю принято отсчитывать от работы Эдмунда Бёрка «Размышления о революции во Франции» (1790), где консерватизм впервые предстал в качестве полноценной систематизированной идеологии. Однако идеям Бёрка предшествовало не одно десятилетие плодотворных политико-философских дискуссий, которые велись в среде британских интеллектуалов. Именно этому периоду и посвящено исследование историка Максима Ковалева (Владимирский государственный университет), подготовленное на основе его кандидатской диссертации, которая была защищена в Институте всеобщей истории РАН в 2017 году.

Зарождение «эмбрионального» консерватизма автор связывает с окончательным поражением якобитских сил в борьбе за британский престол, после которого тори, опиравшиеся на крупную земельную ари-

стократию и выступавшие за сильную королевскую власть, на полвека оказались в оппозиции. В то время в рамках молодой политической силы сосуществовало множество групп, нередко конфликтовавших друг с другом, но обладавших рядом общих признаков, в силу которых автор совокупно зачисляет их в разряд «предшественников консерватизма».

Носителем и распространителем консервативных идей стал довольно широкий круг интеллектуалов-просветителей, очерченный автором уже во введении. В нем можно найти таких «стопроцентных» тори, как Генри Болингброк, Джордж Литтлтон, Генри Филдинг, Тобиас Смоллетт, Джонатан Свифт, Александр Поуп и другие скриблерианцы – члены кружка Мартина Писаки (Scriblerus Club), созданного в начале XVIII века в противовес либеральному кружку «Кит-Кэт». Сюда же попадает и беспартийный Дэвид Юм, важность которого для становящегося консерватизма вполне убедительно доказывается на протяжении всей книги. Кроме того, к тори примыкают и так называемые виги-«патриоты»: к числу последних автор относит Филипа Честерфилда, Сэмюэла Джонсона, а также молодого Эдмунда Бёрка.

Книга представляет собой подробный и всесторонний анализ произведений перечисленных выше авторов, причем разброс их жанров предельно широк: скажем, наряду с философскими трактатами Юма в поле авторского внимания оказываются относительно небольшие стихотворения Поупа и памфлеты Свифта. Реконструируя социально-политические взгляды ранних тори, автор не стесняется использовать художественные произведения: в свете того, что в системной репрезентации их идей долгое время сохранялись обширные пробелы, такой подход кажется более чем уместным. Он помогает не только разобраться во мнениях исследуемых мыслителей относительно партий-

ной системы или королевской власти, но и выявить их этические и эстетические предпочтения, в которых с легкостью можно отыскать корни современных консервативных доктрин. В этой связи, кстати, уместно подчеркнуть, что если в вопросах этики и эстетики все торийские просветители удивительно единодушны, то о вопросах политики, истории и экономики ничего подобного сказать нельзя.

Повествование разбито на четыре главы. Первая из них посвящена историческому контексту и философским веяниям эпохи. Лейтмотивом этой части работы можно назвать доказательство того, что ранняя консервативная мысль Англии была неразрывно связана с Просвещением. Вместе с тем, вобрав в свои доктрины универсальные особенности просветительской мысли – такие, например, как эмпиризм и гуманизм, – английские авторы в гораздо большей степени, чем иные просветители, акцентируют проблематику естественных прав, общественного договора, частной собственности, разделения властей и сопротивления тирании: весь тот набор, который послужил основой многих идеологий модерны.

Особое место в идейно-философском своде британских просветителей отводится скептицизму, главным защитником которого выступает Юм. В картине мира, разделяемой его последователями, познание оказывается сложной комбинацией чувственных ощущений и работы разума, чья роль сводится к «пассивному созерцанию абстракций». Такая установка предполагает наличие «среднего арифметического», объединяющего рационализм и иррационализм. Видное значение здесь приписывается категории здравого смысла, не отождествляемого ни с одним из видов знания. По мнению автора, именно такая гносеология, отмеченная еще и пессимизмом, «подготовила предромантические искания Бёрка» (с. 75).

Исторический контекст, в котором создавались изучаемые в книге тексты, характеризуется двумя ключевыми особенностями. Во-первых, их авторы либо сами активно занимаются политикой, либо широко сотрудничают с теми, кто это делает. Во-вторых, все они уже длительное время остаются в оппозиции, из-за чего тори как политическая сила переживают глубочайший идейный кризис. Полувековая гегемония вигов, на которую опираются первые правители Ганноверской династии, приводит к расцвету торговли и городской культуры и, как следствие, влечет за собой относительный упадок аристократии и ее системы ценностей.

В писаниях торийских авторов все это оборачивается сильнее всего неприятием английской социально-политической реальности и выраженным критическим настроем. Новая культура, в том числе политическая, кажется им наглухо погрязшей в пороке. Обращаясь к методу контент-анализа, автор выделяет наборы человеческих качеств, осуждаемых и одобряемых просветителями-тори: если в число первых попадают плутовство, неверие, жадность, хитрость и тщеславие, то среди вторых можно найти благовоспитанность, открытость, простоту и умеренность. Иначе говоря, этические и эстетические принципы, присущие английским тори первой половины XVIII века, не слишком увязывались с нарождавшимися буржуазными ценностями.

Вторая глава посвящена политическим концепциям ранних консерваторов. Рассматривая их воззрения относительно идеальной формы правления, автор сравнивает два текста: эссе Юма «Идея совершенного государства» и трактат Болингброка «Идея о Короле-патриоте». Первый представляет собой описание аристократической и патриархальной федеративной республики, в которой действует что-то вроде разделения властей, а во втором представлена

апология «народной монархии», где король черпает свою легитимность в нации, свободу которой он, выступая для нее моральным авторитетом, обязан защищать. Несмотря на непохожесть двух концепций, автор находит в них похожие основания: во-первых, забота об общем благе выступает базовой целью идеальной политической системы; во-вторых, источником власти представляется волеизъявление народа, а священность королевской персоны есть скорее метафора; в-третьих, власть оказывается так или иначе разделенной. Интересно, однако, что если Болингброк выводит последний пункт из традиционных «англосаксонских свобод», то Юм в его обосновании предпочитает опираться на античные авторитеты, ссылаясь на рассуждения Цицерона и Тацита о конкуренции интересов как истоке общественного благополучия.

Хотя описанные проекты не мыслились их создателями в качестве конкретных политических программ или проработанных концепций, на их примере хорошо видно, насколько сильно воззрения вигов влияли на тори. Принципы конституционализма, общего блага, защиты народных прав, которые составляли основу мировоззрения старых вигов и которые защищал Джон Локк, теперь стали общераспространенными: в интерпретации первых консерваторов именно на них базировалась апология умеренной конституционной монархии, которая представлялась идеальным воплощением «золотой середины» между абсолютной монархией и демократической республикой. В рамках такой концепции партии не являются самостоятельными политическими единицами; они лишь инструменты, позволяющие объединять аристократию вокруг монарха. Кроме того, они используются для консолидации конкурирующих интересов крупных собственников на «общей платформе гражданских и умеренно-монархических ценностей» (с. 144), не перенося борьбу принципов в политическую конку-

ренцию и ограничивая ее материальными вопросами.

Автор отмечает недовольство английских интеллектуалов первой половины XVIII века гегемонией вигов, которые «узурпировали» механизм разделения властей, превратив парламент в «рассадник коррупции». Интересно, что оппозиционные тори и виги-«патриоты» в этом отношении были единодушны: тех и других объединяет неприятие традиционно конфликтного деления правящего класса на соперничающие группы. В частности, Бёрк, продолжая подобную линию, в своем памфлете «Защита естественного общества» доходит до отрицания политики как таковой.

Партийность подвергается жесточайшей критике, причем в глазах атакующих ее мыслителей аристократическое и демократическое правление отмечены одними и теми же недостатками. Осуждая сложившийся порядок вещей, и Болингброк, и Поуп, и Бёрк указывают на одно и то же: на искажение принципа конституционализма денежным интересом, из-за чего страдает интерес национальный. Из этой констатации, однако, отнюдь не делается вывод о том, что от конституционализма следует отказаться – напротив, она стимулирует поиск решений, позволяющих усовершенствовать конституционный строй. Подобные предложения автор делит на радикальные и реформистские; к радикалам он относит Поупа и Болингброка, «чья стратегия напоминает революцию сверху», а к реформистам – Бёрка и Юма, предлагающих путем реформ укрепить аристократические начала в конституции. При этом, по мнению автора, тори очевидно эволюционировали, переходя от яростного противопоставления себя вигам к идейному синтезу, в рамках которого «гражданские свободы закрепляются в виде “традиционной ценности”, а старые общественные учреждения переосмыляются как либеральные по духу» (с. 161).

В следующей главе рассматриваются воззрения ранних консерваторов на прошлое и настоящее человеческого сообщества. Их экономические взгляды отличаются крайней бессистемностью и затрагивают в основном локальную проблематику; здесь интересен, пожалуй, лишь авторский анализ работ Юма, в которых отбрасывается меркантилистская трактовка экономики и закладывается фундамент для более поздних изысканий Адама Смита.

Более любопытным представляется анализ ранними тори религиозных противоречий, раздиравших в ту пору английское общество. Большинство авторов, независимо от своих личных религиозных ориентаций, закрепляли за религией функцию важного социального регулятора, который, однако, не должен становиться наиглавнейшим. В публичном пространстве порядочный гражданин должен уважительно относиться к церкви и религии, причем независимо от собственных убеждений на этот счет. Согласно консолидированному мнению всех рассматриваемых мыслителей, религиозную дискриминацию необходимо было смягчить, а инициированные предыдущими монархами религиозные гонения признать ошибочными.

В своих исторических и внешнеполитических взглядах тори первой половины XVIII века, как полагает автор, «всецело унаследовали от своих предшественников социальные предрассудки “помещика средней руки”» (с. 212). Исторический процесс в их работах предстает в виде не закономерного явления, развивающегося по объективным законам, а набора случайных обстоятельств и личных выборов. Свергнувшие Стюарты вызывают у них симпатию, а нарушение законности предстает чуть ли не главным злом истории, но вместе с тем абсолютистские наклонности монархов порождают просветительское раздражение. В конце этой главы Ковалев делает интереснейшее наблюдение: поскольку

консерватизм, создаваемый тори, был вынужден опираться не только на земельных собственников, но и на новый средний класс, он воспринимался не как «осмысленные унаследованные ценности», а как продаваемый идеологический товар – иначе говоря, его деятельность хорошо вписывалась в обозначенный Эриком Хобсбаумом процесс изобретения традиций, которые «реставрировались на новой методологической основе и в интересах новых слоев» (с. 212).

Последняя глава, целиком посвященная анализу художественных текстов, оказывается едва ли не самой интересной частью книги. Ее большая часть посвящена творчеству Свифта, в сатире которого обличались практически все слои и институты британского общества, не исключая и самого короля. В этой связи автором исключительно подробно рассматриваются социально-политические аспекты «Путешествий Гулливера». Затрагиваются также поэзия и публицистика с присущим им фундаментальным обоснованием христианской этики с позиции разочаровавшегося в обществе писателя, причем автор видит в этом «свидетельство тупика торизма как общественно-политической идеологии» (с. 244). Последующие мыслители искали и предлагали выходы из этого тупика: например, скриблерианцы и романисты-реалисты разделяли социально-критическую иронию Свифта, находя утешение в деревенской пасторали и морализаторстве.

В этой же главе прослеживается художественная и интеллектуальная эволюция ранних консерваторов от осмеяния любых убеждений (в том числе и собственных, не прошедших проверку историей) к «адаптации вигских идей о личном интересе и о праве, призванном его охранять» (с. 318). В констатации этого примирения и заключается основной вывод автора. Торизм, по его мнению, не отверг идей вигов, а твор-

чески интегрировал их в свое мировоззрение путем «фундаментального теоретического синтеза в новое целое» (с. 319). Тем самым был сформирован идейный багаж, послуживший основой как для поздних работ Бёрка, так и для всего консерватизма XIX века. Подобный подход позволяет также объяснить глубокую внутреннюю

связь между классическими вариантами либерализма и консерватизма, которые по мере эволюции политических идеологий все заметнее сближались и в современных условиях стали практически неотличимыми друг от друга.

АНТОН КУТЕЕВ